

Предисловие к китайскому изданию

Настоящий писатель всегда пишет для собственного сердца, только сердце может доподлинно сказать ему, насколько возвышенна и примечательна его личность. Сердце позволяет писателю понять себя, а, поняв себя, он понимает мир. Я уверился в этой истине много лет назад, но тот, кто захочет следовать ей, должен знать, что обрекает себя на изнурительный труд и долгое мучение: ведь сердце не всегда раскрыто, намного чаще оно запечатано, и лишь работа, неустанная работа может распахнуть сердце, привести к озарению, подобному лучам восхода во мраке, и только тогда внезапно приходит вдохновение.

Долгое время мои произведения вырастали из напряженных отношений с действительностью. Я погружался в глубины воображения, но в то же время мною неусыпно руководила

реальность. Я отчетливо чувствовал, как раздваиваюсь, и не мог обрести цельность. Я желал стать или сказочником, или чистым бытописателем. Если бы мне удалось стать тем или другим, думаю, это сильно облегчило бы мучения моего сердца, но и сил у меня оказалось бы куда меньше.

На деле я лишь сумел стать таким писателем, каков я есть сегодня. Я пишу только для сердца, мое творчество не от рассудка, и именно поэтому я долго был писателем злым и холодным.

С этой трудностью столкнулся не я один: почти все крупные писатели состоят с реальностью в сложных отношениях, и действительность начинает сверкать и искриться под их кистью, лишь когда они посмотрят на нее издалека. Нужно понять, что хотя эта реальность излучает притягательную силу, но она уже успела покрыться краской вымысла и наполниться авторской фантазией. Подлинную реальность, то есть реальность, окружающую писателя, трудно понять, с ней сложно ужиться.

Жизнь писателя, который стремится отобразить действительность, окружающую его с утра до вечера, часто становится невыносимой; реальность, крутящаяся возле нас, словно рой пчел, едва ли не всегда жужжит нам об уродстве и коварстве. То-то и удивительно, что уродство

почему-то всегда рядом, а красота где-то на горизонте. Иными словами, человеческие любовь и сочувствие зачастую не более чем движения души, а до обратных им проявлений рукой подать. Поэт сказал: человечеству не вынести слишком много правды. Есть и такие писатели, что всю жизнь разрушают свои напряженные связи с действительностью; лучше всего это удалось Фолкнеру, он нашел гармоничный путь: описывая промежуточные вещи, сочетая красоту и уродство, погрузил действительность американского Юга в контекст истории и культуры и пришел к подлинной литературной реальности, соединяющей прошлое с будущим.

Некоторые писатели-неудачники тоже рисуют действительность, но под их кистью раскрывается лишь какая-то одна ее сторона; это застывшая, мертвая действительность. Им не видно, откуда человек взялся и куда он идет. Когда они говорят о своих персонажах, не забывая ни единой мелочи, мы чувствуем, как они погрязают в этих мелочах. Такие писатели не пишут, а записывают.

Я сказал, что мои отношения с действительностью напряжены; если же серьезнее, я всегда смотрел на нее как на врага. Но со временем гнев мой иссяк, и я начал понимать, что настоящий писатель ищет истины — истины, исключаящей нравственную оценку.

Миссия писателя не в том, чтобы негодовать, обвинять и разоблачать, а в том, чтобы показывать людям возвышенное. Возвышенное здесь означает не чистую красоту, а остраненность, достигаемую пониманием всех вещей, одинаково человеческое отношение к доброму и дурному, сочувственный взгляд на мир.

Именно в таком настроении я услышал американскую народную песню «Старый раб». Раб, о котором поется в песне, прожил горестную жизнь, пережил всех своих родных, но сохранил доброе отношение к миру и ни словом никого не упрекнул. Песня глубоко меня тронула, и я решил написать об этом роман — этот самый роман, — написать о стойкости человека перед невзгодами, о светлом взгляде на мир. И я понял: человек живет, чтобы жить, и ни для чего более. Я знаю, что написал возвышенный роман.

Когда я был на десять лет моложе, я занялся при-
вольным ремеслом собирателя народных песен.
Все лето я, словно бездомный воробей, стран-
ствовал по деревням среди хижин и просторов,
полных пением цикад и солнечным светом. Мне
нравился горький крестьянский чай. Ведро с
ним ставили под дерево на кромку поля, и я не
раздумывая осушал плошку, подернутую чай-
ным налетом, наполнял до краев свой чайник
и после чинной беседы с работавшими в поле
мужчинами величественно удалялся, сопрово-
ждаемый девичьим хихиканьем. Как-то я целый
день проболтал на бахче со старым сторожем.
Никогда в жизни не ел я столько арбузов. Я стал
прощаться, поднялся и вдруг ощутил, что меня,
как беременную, не держат ноги. Потом я сидел
на пороге с новоиспеченной бабушкой, а она,
плетя сандалии из соломы, пела мне «Тяжела де-
сятый месяц». Больше всего я любил в сумерки
смотреть со двора, как крестьяне льют колодез-
ную воду, чтобы прибить к земле клубящуюся

пыль. В верхушках деревьев сверкало уходящее солнце, я обмахивался чьим-нибудь веером, ел их соленья солонее соли, смотрел на молодых женщин и говорил с мужчинами.

На голове у меня была широкополая соломенная шляпа, на ногах тапки, сзади с ремня свисало полотенце, хлопавшее по заду, точно хвост. Целыми днями, зевая во весь рот, я шлепал по тропинкам меж полей, поднимая пыль столбом, будто проехал грузовик.

Так я шлялся по всей округе и уже не различал, где был, где не был. Войдя в деревню, я часто слышал, как дети орут:

– Опять пришел зевака!

И деревенские понимали, что к ним вернулся человек, который рассказывает охальные сказки и поет тоскливые песни. На самом деле и охальным сказкам, и тоскливым песням научился я у них. Я знал, что они любят, и, конечно, любил все то же самое. Однажды я увидел, как старик, весь в синяках, сидит и плачет на краю поля. Горе переполняло его; заметив, что к нему идут, он поднял голову и заплакал еще громче. Я спросил, кто его так разукрасил, и он, соскребая грязь со штанины, пожаловался, что это непочтительный сын. На вопрос, за что его побили, старик ответил лишь невразумительным мыча-

нием, и я сразу понял, что он полез к невестке. В другой раз я ночью шел с фонариком и выхватил из тьмы два голых тела у пруда, одно на другом. Под моим лучом они замерли совершенно неподвижно, только чья-то рука почесала чью-то ногу. Я быстро погасил фонарь и удалился. Во время полдневной страды я заглянул в поисках питья в распахнутую дверь какой-то хижины, и вдруг путь мне преградил беспокойный человек в трусах, который отвел меня к колодцу, заботливо набрал целую бадью, после чего мышью юркнул обратно в дом. Подобное случалось на каждом шагу, почти в таком же изобилии, что и песни, и, глядя на зеленеющую кругом землю, я все более понимал, отчего хлеба так колосятся.

В то лето я чуть не влюбился: повстречал прелестную деревенскую девочку. Ее темное от солнца личико до сих пор стоит у меня перед глазами. Она сидела с завернутыми штанинами на зеленом берегу реки и, вертя в руках бамбуковую палку, пасла упитанных уток. Ей было лет шестнадцать-семнадцать. Когда я подсел к ней в тот жгучий полдень, она робела, улыбалась, низко пригибала голову, и я заметил, что она тайком раскатала штанины и зарыла босые ноги в густую траву. Я разглагольствовал, как возьму ее с собой и она увидит мир. Она то радовалась, то пугалась. Я воспарил духом и верил в каждое свое слово. Просто чувствовал, что мне с ней хо-

рошо, и не думал, что будет дальше. Но тут показались трое ее старших братьев, могучих, как волы, и я понял, что пора сматывать удочки, иначе придется жениться.

Старика по имени Фугуй я повстречал в самом начале лета. День был в разгаре, я остановился в тени дерева с пышной листвой. Хлопок уже собрали, несколько женщин, повязанных платками, рвали хлопковые стебли и, трясая задами, отряхивали с корней комья глины. Я снял соломенную шляпу, достал из-за спины полотенце, вытер с лица пот, лег, подложив под голову заплечный мешок, и закрыл глаза.

Тот, кем я был десять лет назад, проспал между листвой и травой целых два часа. На ноги мне вскарабкалось несколько муравьев, но мои пальцы и сквозь крепкую дрему настигли их и согнали. Потом мне привиделось, что я вышел к реке и услышал гулкие крики старика, толкающего вдалеке плот. Вырвавшись из пределов сна, я и наяву услышал звонкие крики. Я встал и увидел на соседнем поле старика, вразумлявшего вола.

Наверное, старый вол притомился от пахоты: он опустил голову и долго стоял не двигаясь. Идущий за плугом голый по пояс старик был явно недоволен таким отношением к делу. Я услышал, как он громко выговаривает волу:

– Вол должен пахать землю, собака сторожить дом, монах собирать подаяние, петух бу-

дить на рассвете, женщина прясть. Ты знаешь вола, который не пашет? Это древний обычай, и не нам с тобой его менять. Пошли, пошли.

Утомленный вол как будто устыдился криков старика и потащил плуг дальше.

Спины у старика и вола были одинаково черные. Оба они уже вступили в осень жизни, но вспаханное ими черствое поле вздымалось волнами, словно река. Затем я услышал хриплый, берущий за душу голос старика. Он запел песню прежних дней. Сначала шло долгое протяжное вступление, а потом слова:

Государь решил взять меня в зятя,
Но в далекий путь не поеду я.

Ехать далеко, поэтому, видите ли, он не хочет породниться с государем. Самодовольство старика рассмешило меня. Наверное, вол замедлил шаг, и хозяин снова крикнул:

– Эрси и Юцин не ленятся. Цзячжэнь и Фэнся работают хорошо. И Кугэнь молодец.

Как может быть у одного вола так много имен? Я подошел поближе и спросил старика:

– Сколько же имен у твоего вола?

Старик встал, оперся на плуг, осмотрел меня с ног до головы и спросил:

– Ты из города?

– Да, – кивнул я.

Старик гордо заметил:

– Я сразу понял!

– Откуда же у вола столько имен?

– Всего одно – Фугуй.

– Но ведь ты только что назвал его несколькими именами!

Старик улыбнулся и с таинственным видом поманил меня к себе, но, когда я подошел, вдруг заколебался. Увидев, что вол поднял голову, он наказал ему:

– Не подслушивай, опусти башку.

И вол опустил голову. Тогда старик прошептал:

– Я боюсь, он поймет, что пашет один. А так он слышит имена, думает, что другие волы тоже пахут, и работает живее.

На его смуглом лице, освещенном ярким солнцем, от хитрой улыбки задвигались морщины, забитые грязью и похожие на дорожки, бегущие среди полей.

Потом старик сел рядом со мной под густую листву и в тот полдень, полный солнечного света, рассказал мне свою историю.

Сорок лет назад здесь часто расхаживал мой отец. Одежда на нем была из черного шелка, руки он всегда закладывал за спину. Выходя из дома, он говорил моей матушке:

– Пойду пройдуся по своей земле.

Работники, завидев его, почтительно складывали руки, не выпуская из них мотыг, и говорили: «Здравствуй, хозяин».

Когда он приходил в город, его называли там «господин». Отец мой был человек с положением, но на горшок ходил как любой голодранец. Вернее, ночного горшка рядом с кроватью он терпеть не мог, ему, как скотине, нравилось облегчаться на приволье. Каждый день под вечер отец, рыгая, почти квакая, от сытости, выходил из дома и неспешно направлялся к отхожему корыту за околицей.

Он брезговал садиться на грязный край корыта, забирался на него с ногами. Дерьмо у него было такое же засохшее, как он сам, выходило тяжело, и всем было слышно, как он там кряхтит и охает.

Так он справлял нужду несколько десятков лет, и даже в шестьдесят с лишком мог подолгу просиживать над корытом на своих жилистых птичьих лапках. Ему нравилось смотреть, как тьма постепенно накрывает его поля. Моя дочка Фэнся* в три-четыре года бегала за околицу смотреть, как дедушка тужится; отец был уже все-таки стариком, ноги у него подрагивали, и Фэнся спрашивала:

* Заря феникса. (Здесь и далее примеч. перев.)